

Амаяк Тер-Абрамянц

---

# **КОКТЕБЕЛЬСКАЯ ГАЛЬКА**

РАССКАЗЫ

Амаяк Тер-Абрамянц

**Коктебельская галька. Рассказы**

«Издательские решения»

**Тер-Абрамянц А.**

Коктебельская галька. Рассказы / А. Тер-Абрамянц —  
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-968059-4

Рассказы о судьбах людей и страны, публиковавшиеся в различных журналах и альманахах России, Армении, Эстонии, Греции, Германии, Чехии. Как капля росы отображает весь мир, так и рассказ способен отобразить вселенную.

ISBN 978-5-44-968059-4

© Тер-Абрамянц А.  
© Издательские решения

## Содержание

Дар чудесный	6
Мамина сказка	9
Коктебель	21
«Жди меня и я...»	25
Я умер в Нахичевани	27
Конец ознакомительного фрагмента.	30

# **Коктебельская галька**

## **Рассказы**

**Амаяк Тер-Абрамянц**

*Редактор* Татьяна Геннадиевна Дмитриева

© Амаяк Тер-Абрамянц, 2019

ISBN 978-5-4496-8059-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

## Дар чудесный

*Дар напрасный, дар случайный,  
Жизнь, зачем ты мне дана?*

*А. С. Пушкин*

Есть бытовые вещи, простые предметы, но милые памятью, таящие для нас сакральный смысл – для других не более чем ненужный хлам, мусор, который после нашего ухода будет сметён равнодушной рукою.

Уже более 10 лет прошло, как мама оставила нас. Но вот её кожаная женская сумочка с полустёртым более чем за полвека геометрическим эстонским узором – лишь для меня она имеет ценность особенную. В ней меж бумажных тетрадных листов проложены мои волосы после первой в жизни стрижки – каштаново-тёмные, лёгкие как пух, засохший букетик клевера, хрупкий, теряющий очередной мелкий листок при малейшем сотрясении от попытки взять его в руки. Когда-то розово-фиолетовые лепестки обесцветились временем, стали белыми... Это был мой первый в жизни букет, который я подарил маме, и очень хорошо помню, как это случилось. Было мне лет пять тогда, и детский садик, которым заведовала мама, был вывезен, как говорили, «на дачу», в живописное место близ Таллина, на Раннамызу. До сих пор в слове Раннамыза мне чудится что-то волшебное. Я был там десятки лет спустя и порзился тихой живописностью морского берега: полукружья выступающих из воды камней ограничивали недоступные для волн тихие, мелкие лагуны, в которых мелькали игольчатые тени стай мальков. Эти камни и эта вода казались сотворённых искусной рукой художника, чем-то вроде созданных для медитации каменных японских садов.

Я помню окружённый лесом обширный луг, весь покрытый медово пахнущими на солнце цветами клевера. На одном краю луга я с какой-то девочкой, на другом мама – в белом халате. Эти мягко пылающие цветы показались мне необыкновенно красивыми. Я рвал их, собирая в букет, подходя к маме и решив уже ей этот букет ей подарить. Было солнечно, тепло, мама улыбалась – самая красивая на свете, самая-самая!..

Да, это был тот букет, который я подарил ей более шестидесяти лет назад... мумифицированный и, к сожалению, как и всё, обречённый.

Была в этой сумке и квадратная, с малахитовой крышечкой, музыкальная пудреница, которую я подарил маме на 8 марта, когда мы уже жили в Подольске и я был школьником. Я купил эту пудреницу в магазине «Галантерея», напротив нашей пятиэтажки. Малахитовая крышечка открывалась, и под зеркальцем, рядом с розовой пудрой, обнаруживался рычажок-завод, при смещении которого какая-то внутренняя пружина приводила в движение чистые звоны на мотив популярной тогда песенки: «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я!..» Сейчас этот мотивчик чрезвычайно фальшивит, сбивается с ритма, чудовищно хромает, подвывает...

И ещё в этой сумке много старых поздравительных открыток от подруг и знакомых – с праздником 7-го ноября, 1-го мая, 8-го марта, с Новым годом и 9-ым мая. На них преобладает красный цвет – красные флаги, красные гвоздики, крейсер «Аврора», матросы и солдаты, бегущие в атаку, красная голова Ленина, Гагарин в своём космическом шлеме с красной же надписью СССР, ёлка с красной звездой – вся мифологема тогдашнего времени. Политическая, смысловая составляющая ноябрьских и Первомайских праздников была уже выхолощена, опровергнута действительностью с её вечным дефицитом всего и пожирающими большую часть жизни серыми, унылыми очередями, и эти праздники оставались лишь поводом напомнить о себе простыми пожеланиями здоровья и счастья. Другое дело 9 мая, 8 марта и Новый год... День Победы, конец самой чудовищной в истории человечества бойни, праздновали

без дураков, всерьёз и за праздничным столом обязательно звучало лейтмотивом «Лишь бы не было войны!». Политическое происхождение 8-го марта не играло уже никакой роли, в нём и духа не осталось от идеи борьбы женщин всего мира против капитализма, от Клары Цеткин и было превращено в день, когда воздавалось уважение к женщинам, их труду и жертвам, бесконечным готовкам, стиркам, уборкам, очередям, родам, ожиданию счастья, их титаническим усилиям выглядеть по-человечески. Новый год был просто праздником с «Голубым огоньком», главным в котором было веселье: на серо-голубых экранах появлялись любимые народами СССР Аркадий Райкин, великолепный и элегантный Муслим Магомаев, усатый Оскар Фельцман, Эдита Пьеха... И радости не лишало даже нудное, до смешного фальшивое, вполне в духе Аркадия Райкина, поздравление Генсека с призывом «идти к новым свершениям».

Но главным праздником в году для мамы был, естественно, мой день рождения. Перед днём рождения я ложился спать счастливым, зная, что наутро обнаружу рядом с постелью подарок. Мама была всё же романтической натурой, и ритуал таинственности, загадочности до последнего момента для неё много значил. При этом все подарки её были осмысленными, развивающими, хоть и в русле моих пожеланий: шахматы, книга сказок, компас со светящейся в темноте фосфором стрелкой, фильмоскоп, бинокль, фотоаппарат, кинокамера... А в годы студенчества в мединституте она подарила мне путёвку в Ереван...

Я не раз впоследствии думал, что было бы справедливой в день рождения делать подарки родительницам, а не их детям, ведь это мать выносила тебя под сердцем, родила, дала высший дар – жизнь, тем более моя мама: «Я не пою с тех пор, как тебя рожала, я сильно кричала и голос сорвала, роды были тяжёлыми, – вспоминала, – тройное обвитие пуповины у тебя было...» Об отце не говорю – роль мужчины в рождении ребёнка чисто функциональная.

Она стремилась добавить по максимуму то, чего была лишена в детские годы голода и сиротства. На мои предложения помочь ей она не раз со вздохом отвечала: «Дорогой мой, ещё наработаешься!»

Всегда хотелось хоть как-то её порадовать – в учёбе, своими маленькими жизненными успехами. Однажды я пошёл на прогулку в лес, который начинался через дорогу от нашего дома. В лесу я душой отдыхал от однообразия и серости промышленного многотрубного и дымного города. Как обычно, я прошёл дубраву, молодой сосняк, осинник, перешёл круглое и выпуклое, как щит, ржаное поле с ещё не созревшими голубыми сладковатыми колосьями и оказался на поросшем берёзами склоне берега ручья, недалеко от зелёного забора пионерлагеря. Тут я обычно поворачивал назад, но на этот раз я решил идти дальше, перешёл железный мостик: на другом берегу начинался настоящий вековой смешанный лес с подлеском из кустарников орешника, малины, волчьей ягоды и высокой травой хвощей и папоротников. Земля была здесь сырая, покрытая мокрой коричневой и чёрной прошлогодней листвой. Еле заметная тропинка скоро исчезла, но я продолжал идти в заданном себе направлении. Минут через двадцать я неожиданно вышел на круглую, как монетка, маленькую, заросшую густой травой потаённую полянку. Я остановился, огляделся. И вдруг заметил под ногами зелёные листья с крохотными белыми колокольцами – ландыши! На поляне они росли тут и там. Я набрал букетик этих изящных, с тонким ароматом, любимых мамой цветов, сразу решив сделать ей сюрприз...

В немалой степени именно мама слепила мою личность, несмотря на то что с возрастом я отходил от неё достаточно далеко.

В ту глухую пору «развитОго» социализма книга ещё была и в самом деле лучшим подарком, лишь из них мы могли черпать что-то свежее, новое, лишь книга спасала, освежала душу от навязчивой и вездесущей дебильной пропаганды. И книги были дефицитом, да, особенно ранее запрещённые авторы, которые один за одним «разрешались» и появлялись (в ограниченном количестве) на прилавках: Есенин, Цветаева, Пастернак, Бунин... Но для участников войны, к которым относилась мама, работавшая медсестрой в эвакогоспитале, выдавались

талоны на получение вне очереди дефицитных продуктов, кое-каких вещей и книг, в том числе. Тогда она подарила мне прекрасный четырёхтомник Бунина.

А однажды случилось невероятное – частичное погашение облигаций государственного займа в соотношении один к десяти, тех облигаций, которыми часто выдавали часть зарплаты нашим родителям в добровольно- принудительном порядке, урезая и без того скромную сумму. Они покорно брали облигации без всякой надежды когда-либо получить какую-то компенсацию: настолько привычным было, что государство может только брать всё, вплоть до жизни, но не отдавать. Многие в то время эти облигации выкидывали прямо в мусор. И вдруг – частичное погашение! Публикации в газетах серии погашаемых номеров! А мама в один из моих ранних дней рождения сберегла десяток этих облигаций, как память, записав на них чернилами мой инициал. И по этим облигациям мы получили сумму, по тем временам приличную – 300 рублей при средней зарплате по стране в 100—120 рублей в месяц. Эти деньги она мне и подарила, свой труд по восстановлению страны. «Можешь или купить, что захочешь, или куда-нибудь поехать. Что выберешь?..» – «Конечно, поеду, и как можно дальше!» – обрадовался я и расстелил карту страны. Заграница в то время была мечтой несбыточной, а самым дальним местом в стране была Камчатка (даже туда требовалось разрешение ото КГБ и надо было предварительно списаться с турклубом, путёвка от которого давала право посетить эту «Погранзону» величиной со среднее европейское государство).. Вещи изнашиваются и выбрасываются, а память о путешествии останется навсегда – рассуждал я. Стоимость билета в один конец была 150 рублей. Полученные деньги обеспечивали билеты на самолёт туда и обратно!

Тысячу раз был прав Бунин, когда писал, что из всего окружающего нетленно лишь слово! Я сидел на берегу Тихого океана, на чёрном вулканическом песке, смотрел на извивающуюся белую ленту прибоя, окаймляющего меловые зубья рифов в километре у берега, и так захотелось вдруг начать жизнь здесь с чистого белого листа, преодолеть тяжёлое притяжение Москвы...

Приехав, я написал по свежим впечатлениям серию очерков о Камчатке, своём путешествии к вулканам, о встрече с великим Тихим... И теперь я иногда перечитываю эти записки, и восстаёт в своей свежести виденное.

А память о маме, о её любви, хотя бы в этих строках останется, хоть на какое-то время... Может быть...

## Мамина сказка

Мама загорала на волшебной коктебельской гальке, закрыв глаза. Я, только что выскочив из воды, мокрый и приятно озябший, лёг рядом, чувствуя светлый летучий восторг солнечной, быстро согревающей щекотки испаряющихся с кожи капель. Мама любила лежать так, чтобы набегающие волны касались её стоп и пена доставала до голеней. Справа вторгался в море громадный Кара-Даг с его премудрыми изломами, каменными чудесами, бухтами, за ним от моря в очередь – круглая, зелёная от курчавого леса гора с серой прямоугольной проплешиной на склоне и скалистый пик Сюрю-Кая – три горы совершенно разного характера... Впереди сияло синее море – бескрайнее, как радостное обещание счастья.

– А хочешь, я тебе расскажу сказку? – неожиданно спросила мама, не открывая глаз.

Я, чтобы её не обидеть, нехотя согласился – мне было уже 11 лет, и сказок я почти не читал – всё больше приключения, фантастику...

– Жила была девочка, – начала мама, – ей было столько же лет, сколько тебе. Родители её умерли, дома не было своего, и она ночевала в сарае с коробками... И каждую ночь в сарае начинало шуршать, едва она собиралась заснуть – это были крысы, собиралась целая стая, и они приближались, наступали на неё. Девочке было страшно, и она отгоняла их от себя...

Мама неожиданно замолкла. Шумело море, слышался весёлый визг детей. На продолжении я не настаивал, сказка казалась какой-то неинтересной, начало и продолжение её тонули в какой-то серой мгле... А возможно, мама просто не успела досочинить сказку... Но что-то, видимо, было в её обертоне такое, из-за чего эта «сказка» не забылась, а упала на дно памяти навсегда. И смутная догадка-подозрение оставалась: «Это была ты!»

– А потом у неё всё стало хорошо! – неожиданно закончила мама, обернувшись ко мне, открыв свои зелёные лучистые глаза, и улыбаясь.

Тем летом отец и мама поссорились как раз перед её отпуском, и мы поехали на юг без него. Здесь я впервые через много лет увидел снова море, но не похожее на голубовато-стальную холодную Балтику моего раннего детства, а ярко-синее, а мама после короткого боя с директором пансионата «Планерское», выбила нам номер на первом этаже на двадцать дней.

Был 1962 год. Коктебель казался раем, наградой за год существования в сером, промышленном и безликом городе в центре России со скучной школой, спасением от тоски в котором были лишь пластилиновые игры-миры с приятелями по дому и впервые прочитанные «Остров сокровищ», «Три мушкетёра», «Следопыт»... А здесь всё намекало на приключения: и ветровые, и вулканические скульптуры Кара-Дага (одни Золотые ворота, стоящие среди моря, чего стоили!), его бухточки – сердоликовая, разбойничья... И чёрные спины дельфинов с острыми плавниками, раза три прокатившиеся баллонами над ослепительной фиолетовой в мелкой ряби гладью. По территории ходили павлины с раздёрганными туристами, но не потерявшими своего великолепия перьями, кричавшие по ночам «Мяу! Мяу!» Здесь я научился плавать! Каждый день в Планерском (тогда так чаще называли Коктебель) приносил какое-то открытие...

– А вот я тебе расскажу, как мы жили, когда я была маленькой, – мама неожиданно повернулась ко мне, в руке у неё оказалась палочка, и она начала чертить на полосе песка среди гальки.

Она начертила большой прямоугольник с закруглёнными углами: «Вот такой у нас был двор»... Потом она принялась рассказывать, где что находилось: «Вот тут каменный дом зим-

ний под железом, дальше летняя хата, сад большой. А тут задний двор: кухня, сарай, где всякий хозяйственный инвентарь был – сеялка, веялка, плуг...»

Мне было не очень интересно, но я слушал, не понимая ни названий, ни назначения сельскохозяйственных предметов. Куда всё это делось, меня не очень интересовало – я мечтал в этом году поступить в пионеры, потому что в пионеры, как говорили, принимали самых лучших.

Мама ещё не раз рисовала двор своего детства – на пляжном песке или на бумаге, уже дома. Но мне не было дела, куда всё это могло исчезнуть – ведь столько времени прошло, и война была... А для мамы, видно, имело значение расположение каждой вещи на плане – кухни, хаты, дома под железом, хозяйственных построек...

Паспорт. Паспорт у неё был удивительный: в графе место рождения указано – село Братское Братского района Одесской области, что было вымыслом. И год рождения указан 1919, а не 1918... Имя крестильное своё она раскрыла только на восьмом десятке лет – не любила она его, мрачное что-то будило... «Меня Варей звали, а когда одна осталась, букву „р“ не выговаривала (зуба переднего не было), так меня и стали называть Валя и в паспорт записали». Новое имя – ещё один барьер от прошлого.

«Никогда, никогда никому не говори, кто твои родители, говори – не помню, детдомовская я...» – напутствовала умирающая мать. Тайну свою дочь хранила почти до самой перестройки.

А родилась она на хуторе в степи Новороссии, вдали от крупных дорог и городов. «Первый раз машину увидела в пять лет, водитель был такой важный, в крагах, с лётными очками, в шлеме...» Он ехал через деревню и остановился то ли что-то подправить, то ли воды испить на радость сбежавшейся тут же детворе, да и взрослым было любопытно. Дети впервые увидели, что нечто может передвигаться БЕЗ ЛЮШАДИ, и услышали ставшее сразу священным, символом чудесного слово – МОТОР! Мотору предстояло стать их религией, идолом наступившей эпохи.

«Самолёт в девять лет увидела, он приземлился в нескольких километрах от деревни. Что тут было! Все кинулись бегом к нему – и дети, и взрослые, и старики! Добежать не успели: он разогнался и взлетел... А первый поезд увидела в десять лет... Ох и дикие же мы были, ох и дикие! (Смеётся.) – Учительница всё никак не могла нам объяснить, что такое озеро и что такое остров! Она говорит, а мы не понимаем. Хватает тарелку, наливает воду: це озеро, понятно? Понятно – киваем. Она выливает воду и переворачивает тарелку: це остров, понятно? – опять киваем... Озеро-остров, остров-озеро бубним, и ничего понять не можем».

А как понять – вокруг, куда ни глянь, ровная, как стол, степь до горизонта, прорезываемая лишь речушкой, откуда-то с северной стороны из-за горизонта появляющейся и за южным краем горизонта исчезающей... вот и вся природа... Человека, приближающегося из самого далёка видно, будто точка появляется в степи и медленно, медленно увеличивается, наконец, обретает фигуру и лишь совсем близко черты... Какие тут острова, какие моря?

Странное и длинное название для такой невзрачной речки: Каменно-Костоватая! (Это я сам потом по интернет карте разузнал). На правом берегу и был хутор Устиновка, где мама белый свет увидела, а на левом, ниже по течению, деревня со смешным названием Прищепивка.

Передо мной фото на паспарту, которому не менее 100 лет: три русских солдата – средний сидит, фуражка лихо сдвинута, двое стоят по сторонам – крайний слева, без фуражки, с открытым высоким лбом и пытливым взглядом – мой украинский дед Сергей, позади античная ваза с цветами, складки портьеры – интерьер фотосалона в духе понимания красоты того времени.

Фото явно сделано перед отправкой на фронт: солдатские формы новенькие, чистые, нет заломов, помятостей, нет ни одного значка или медали – только простые матерчатые солдатские погоны. Участники той Великой Войны, почти стёртой со страниц учебников большевиками, растоптавшими её кладбища и память.

Известно, что Сергей воевал в Красной Армии, а брат его родной был белым офицером – прапорщик или поручик, неизвестно. Умер Сергей рано, году в 1922-ом, судя по всему, от рака кишечника. Но у него родились уже к тому времени четыре дочери, из которых мама была самой младшей.

Вообще, Робинзону Крузо было чему поучиться у этих людей степи. Однажды мама рассказывала о производственных процессах крестьянина с удивительными подробностями и деталями, я кое-что записал:

«Все делали сами: и хлеб сеяли, и собирали, и пекли, колбасы сами делали, одежду из льна и конопли – рубашки, платья, постельное белье, коврики пряли...»

«Были в хозяйстве сеялка, веялка, борона, плуг. Плугом землю вспахивали, – косое железное лезвие на трех колесах, борона – волокущиеся за лошастью грабли, разбивала крупные комья на мелкие. Сеялка – прямоугольник с дырками в днище, заполненный зерном, – тоже тащила лошадь...»

А лен и коноплю рвали руками, связывали в пучки, какое-то время сушили, потом мочили в реке, в черной грязи. Очень весело бывало, когда её отмывали: купались в проточной воде. Стебли после этого становились белыми, их снова сушили, потом отбивали, чтобы снять шелуху: выкладывали стебли на брус, установленный поперечно на двух шестах над землей и отбивали круглой палкой. Вся шелуха падала вниз, оставались нити, которые расчесывали и наматывали в мотки. На веретене из этих мотков делали нитки требуемой толщины – скручивали нити льна. А на прялке делали более тонкие нитки.»

Но не только одежда и пища, но и строительство: сами изготавливали кирпичи, сами строили мазанки.

«Черноземную грязь и полову смешивали: кто победнее, месил ногами, у того, кто побогаче – месила лошадь. Полученное месиво заливали в решётку из досок, чтобы получить форму кирпичей. Грязь сохла, и в каждой ячейке получался кирпич. Из этих кирпичей складывали мазанки, стены вокруг огородов и садов. Чтобы кирпичи держались, стены несколько раз с помощью доски обмазывали тонким слоем глины (отсюда и название – мазанки), каждый раз дожидаясь их полного просыхания. Только потом красили известкой стены (вот ведь и о красоте крестьянин не забывал!) – предварительно ее в воде растворяли, а вода при этом кипела.

И высота, и размеры мазанки были точно рассчитаны. Вообще, крестьянское хозяйство было практически безотходным: все шло в дело, даже сажа – ею, опять же для красоты, проводили линию внизу наружных белых стен дома.

За две недели до Рождества резали свинью. Задняя часть шла на окорок, который весной коптили, из остального делали различные продукты: тонкий кишечник – на колбасы – кровяные, печеночные, чесночные и прочие. В толстый кишечник набивали лапшу и вермишель, отваривали, легкие также ели...»

И после революции, до трагедии коллективизации уклад сельской жизни с ее трудом и праздниками сохранялся практически прежним. И праздники религиозные и народные оставались те же, и наиболее запомнившимся было Рождество Христово. «Одевали самое лучшее и садились за стол, на столе – только рыбное – рыба в соусе, жареная, заливная и прочая, в углу под лампадой ставился казан с компотом и рис (кутья). Детям давали калачи с конфетами посреди и отправляли к соседям колядовать. Приходя к соседям, мы пели: „Сею-вею, посеваю, с Новым Годом поздравляю!“ Зерно бросали в хату, конфеты дарили и нас угощали конфетами». Была ещё колядка «Дева МариЯ по полю ходила...» на благословление урожая.

Пели, поздравляли, дарили соседям конфеты, за что получали подарки, и что особенно ценилось, по одной или несколько копеек».

Рассказывала, однако, о деревенском быте без умиления, без задыхания: всё это был тяжелейший, от зари и до зари, физический труд, рано старивший людей. А сердце рвалось к чему-то необыкновенному. Бывало, среди беготни и игр с мальчишками, после налётов на чужие сады, в которых верховодила, вдруг останавливалась, говоря: «А надоели вы все мне!» – и уходила одна в степь. Ляжет на траву и смотрит на облака за сказочными взаимопревращениями образов – и мечтается что-то, рвётся, как птица из груди. Иные люди рождаются и живут как все, а у иных будто врождённое какое-то требование необычности, жажда новизны, подвига и вера в собственные силы, в свою необычность. За эти приступы надменности деревенские мальчишки её «аристократкой» дразнили. А раз вскочила на необъезженного жеребца Мальчика, и понёс её Мальчик за ворота, вдоль речки к обрыву, и сбросил: с тех пор на всю жизнь крохотный, почти незаметный шрамик на брови остался.

Впечатлительная была: рассказ священника о Страшном Суде напугал необыкновенно: «Как затрубят архангелы, как разверзнется земля, восстанут мёртвые на Страшный Суд...» И снились ей после кошмары нередко, и думала она о грозном Боге и наказании. И представлялся он ей по-народному язычески: то хитрым дедом с седой бородой, то грозным Спасом-Вседержителем на троне...

Так и жил хутор со своим большим хозяйством на женских плечах... Но женскими силами много не напашешь, вот и приходилось нанимать мужиков из деревни, а в обмен давали пользоваться своими лошадьми и сельскохозяйственным инвентарём, которого на хуторе было достаточно. Это и сыграло при коллективизации: «Использование наёмного труда – эксплуатация! Раскулачить! На Соловки! Пришли деревенские бездельники, пьяницы, за час всех выгнали из хутора, а дом наш под железом себе под сельсовет определили... И мама моя бежала – сто километров по степи на руках меня несла...», – вспоминала мама.

Я помню, когда мы в школе проходили «Поднятую целину» Шолохова и я начал читать сцену, в которой семью бывшего красного партизана, как «кулака», выбрасывали из дома, мама сильно взволновалась: «Вот так же и нас!» – побледнела, по лицу её будто тень прошла.

Судьбы четырёх сестёр сложились по-разному: одна перед началом коллективизации успела выйти замуж за комсомольского лидера, тётя Галя, приехавшая к нам в Таллин после смерти Сталина, вместе с мужем была выслана на Север, бабушка с моей мамой на руках бежала через степь, спасая дочь, судьбу четвёртой сестры я не помню.

Бабушка, преодолевая кордоны, добралась-таки до города, где и погибла от голода и испытаний с последним напутствием дочери: «Никогда никому не говори, кто твои родители

и откуда ты – говори, детдомовская!» И осталась моя мама в десять лет сиротой. На этот период, видимо, и приходился рассказ мамы о страшных одиноких ночах в сарае и штурмах крыс.

Судьба смилостивилась, маму спасла от голода и детдома молодая еврейская семья Яблонских. У них как раз родилась дочка, и ей нужна была няня. Несколько лет мама прожила у них, ухаживая за маленькой Раечкой. Фима, глава семейства, гордо именовал себя коммерсантом, хотя время для коммерсантов наступало лихое. «Мама, – однажды ревниво спросил я, – а как они к тебе относились?» Ответ был неожиданным, лицо мамы озарила улыбка: «Сынок, дорогой, да у нас к своим так не относятся!» Неспроста за всю жизнь не слышал от неё слова плохого о евреях!

А добрые люди были. Революционерка, дочь попа, от отца отрѣкшаяся, в школу её определила, а пожилая еврейка Фаня Михайловна, директор детского сада, помогла в рабфак устроиться, в педагогический техникум, жить в детсадовских помещениях давала, и перед войной мама уже работала в детском саду воспитательницей. Добрая Фаня Михайловна, на что она надеялась, когда началась война? Что она, старый человек, никому уже не будет нужна? Ну как же – Гёте, Шиллер, Гофман, Кант, Гегель, Штраус, Гайдн, туманный немецкий романтизм... Или, что долг свой она должна совершать до конца... Почему не эвакуировалась?.. Они повесили её.

Мамина юность прошла в крупном промышленном городе Кривой Рог. Здесь в комсомол вступила, жила в общежитии – в доме коммуны. Этот экспериментальный дом-коммуна был выстроен для создания человека нового типа, без тлетворного влияния старого мира – для молодых строителей коммунизма: здесь всё было общее, минимум личного, и сосредоточено так, чтобы советский человек постоянно находился в коллективе: комнатка с соседкой-подругой, общая столовая, прачечная, общие кухни, конференц-зал клуба для собраний, где праздновали новые политические праздники, награждали передовиков труда, проводили лекции и политинформации, вместе пели песни о Родине, осуждали оступившихся товарищей, а когда приезжал старший партийный товарищ и сообщал о новых выявленных нашими доблестными органами врагах народа, с жаром клеймили предателей, кары требовали... Им рассказывали, в какой счастливой стране они живут, – самой счастливой, где уничтожена эксплуатация человека человеком, где люди самые свободные в мире, где все сыты, не то что народы, страдающие под властью капиталистов! Первое в мире государство, устремившееся к светлой цели коммунизма, когда всего всем будет хватать с избытком. Попы рассказывали тёмным людям про рай на том свете, а они человеческими руками создадут его на земле! «Человек – это звучит гордо!» И за всё это они должны благодарить партию Ленина-Сталина, лично Вождя!

Вот её предвоенная фотография: худощавая девушка среди двух подруг, комсомолка тридцатых, свято верующая в идеалы коммунизма, в вождя, тайно стыдящаяся своего прошлого (ведь если так поступили с её родителями, значит, они были в чём-то виновны, ведь народная власть не ошибается!). Но тлело, тлело пламя потребности в подвиге, лидерстве, и время гремело подвигами (полёты Чкалова через Северный полюс, подвиг челюскинцев, перелёт до Владивостока Гризодубовой, строительство Магнитогорска, Норильска, перевыполнение планов стахановцами, открытие на Севере новых земель, подвиг папанинцев на льдине, переход «Сибирякова» по Северному морскому пути за одну навигацию) и хотелось сотворить что-нибудь необычное, время завораживало песнями («Нам нет преград ни в море, ни на суше, Нам не страшны ни льды, ни облака. Пламя души своей, знамя страны своей Мы пронесем через миры и века!»), сердце ликовало от радости сопричастности к строительству великой мечты человечества. Выступала горячо на комсомольских собраниях, казалось, никакие страхи

её не смутят – и летели, летели искренние, горячие слова! Какое же счастье, что она живёт в самой счастливой стране, где не надо никого и ничего бояться – ни лживых и подлых врагов, ни дрожать от жутких снов о Страшном Суде! Какая же она была глупая, когда верила в Бога – то в старичка с белой бородой, то в грозно- красивого длинноволосого повелителя, сидящего на троне! Оказалось-то, что всё это сказки! В такие моменты она была готова совершить какой-нибудь подвиг ради Страны, ради счастья человечества, ждущего освобождения от проклятых эксплуататоров! Да такой, чтобы все узнали и ахнули!

Устраивалась и личная жизнь – худенькая, гибкая, она быстро освоила на танцплощадке науку вальса, у неё появился молодой человек – и не какой-нибудь пьяница-рабочий, а ВОЕН-НЬИЙ! Не лётчик, конечно, которые больше всего были в моде, но танкист – тоже неплохо: курсант танкового училища, скромный, подтянутый юноша, который, осторожно взяв её за локоток, провожал после танцев домой, и иногда они напевали по дороге: «Броня крепка, и танки наши быстры, и наши люди мужества полны...»

Но для того чтобы вырваться вперёд, показать себя, искупить перед вождём неведомую вину тёмных неграмотных родителей, надо было учиться, поступить в институт, а для этого справка о социальном происхождении требовалась. Но сказал ведь уже любимый вождь, что дети за родителей не отвечают, и, собравшись с духом, однажды она поехала в родные края. Там увидела родной, бесхозно обшарпанный дом, превращённый в правление колхоза с красной тряпкой над крыльцом, вошла и вышла со справкой, в которой было написано «из раскулаченных». Вошла на мостик через Костоватую, в клочки порвала цыдулю и скинула обрывки в поток, и вспомнилась песня из детства: «Соловки, Соловки, дальняя дорога, в сердце боль и тоска – на душе тревога». Что же происходит, в чём виновата её мать, сестра, и многие другие, которых составами гнали на Север? Нет, какая-то несправедливость поднималась жаром со дна сердечного... И что получалось? Получалось – две правды было: одна с песнями, направленная к светлому будущему, другая жалкая, сломленная, уходящая... Кто объяснит? Но последнее слово матери не перешагнёшь запросто... время покажет – решила. И так жила с двумя правдами.

Но страх был. Однажды их повезли на комсомольскую экскурсию в шахту. Виду не подавала, но животный страх просыпался по мере того, как клеть со скрипом и треском опускалась вниз, в темноту. И трос держащий казался ей всё тоньше и тоньше, и сколько случаев вспомнилось гибели шахтёров! Всё глуше становился «Марш энтузиастов», и страх, который она, казалось, победила, подступал... Слои земли, эпох и тысячелетий проходили мимо, и вот-вот затрубят Ангелы и восстанут мертвецы! Но лица шахтёров были спокойны, неподвижны, вспомнилась их старенькая песня: «Шахтёр в землю спускается, с белым светом прощается!» Да они каждый день подвиг совершали – завалить, убить взрывом метана – сколько похорон город видел. Правда, кто-то постоянно твердил тогда, что это дело рук «врагов народа», и их находили, они, жалкие, сломленные, во всём признавались, каялись, а митинги рабочих ревели: «Смерть! Смерть!»

А ещё было, когда она почувствовала близость катастрофы каким-то шестым чувством совсем в другой ситуации – ни в шахте, ни в бою, а тёплым летним днём, когда с подругами пошли на обед в рабочую столовую. Как обычно, направились к свободному столику. Одна из подруг смела крошки со скатерти, и они угодили в портрет вождя, стоящий прямо на столе, видимо, для поднятия аппетита пролетариата. За соседним столиком было высказано замечание, что это знак неуважения к вождю. Истовая комсомолка возмутилась, попытавшись объяснить, что вышло это случайно. Однако в разговор включились и второй и третий голоса. Они

наставляли, что вот из таких небрежностей формируется несознательность, и шахты взрываются. Всё новые люди присоединялись, всё больше обвинений сыпалось на бедную девушку, громче и злее становились голоса, и уже витало в воздухе столовой страшное «враг народа»! Несчастливая девушка уже не возмущалась, а рыдала и извинялась перед всеми. Лишь подружки защищали, как могли, но их никто не слышал. И тут, не стовариваясь, они вскочили и бросились к выходу.

Долго шли по солнечной улице, приходя в себя.

– А помнишь Славу, сына директора шахты, он всегда в белых брюках на танцы приходил...

– Уже не приходит... – сказала другая.

– Что так?

– Отца посадили...

– За что?

– Враг народа, – вымолвила одна из девушек, однако без обычной уверенности. – У нас зря не берут...

– По какой же мы тонкой верёвочке ходим! – вдруг заключила Валя неожиданно для себя.

А прошлое вновь о себе напомнило маме: однажды, когда пришла на работу, вдруг сказали ей: «Тебя сестра искала!» – «Нет у меня никакой сестры!» – сразу вырвалось у неё. Но правда сильнее оказалась: вскоре они тайком встретились; это была Галя, она поведала об ужасах, которые ей пришлось испытать. Галя рассказала, что было с высланными: погрузили в телятники, вывезли в тайгу в архангельской области и выбросили прямо в снег... Мужики пошли рубить дрова для костра, женщины стали ставить шалаши... За зиму все дети и старики погибли от голода и мороза – от всех поселенцев осталась половина. Позже они, умелые крестьяне, отстроили себе деревню, выжили, а муж попал в лагерь лишь за то, что, увидев гниющие доски, сказал: «Был бы хозяин, такого бы не допустил!» А Галя услышала от младшей сестрёнки, как их мама погибла... Всплакнули...

Что осталось от этой женщины, моей украинской бабушки? – нет ни одной фотографии, только мама говорила, что звали, кажется, Пелагея, и волосы у неё были красивые, длинные... Что досталось от неё – жизнь мамы, а значит, и моя достались.

«За что?.. За что?..» – шептались сёстры в тени парка. «А за то, что жили богато...» – «Да какой богато? С утра до ночи пахали, с пяти лет работать начинали – свиной пасть, сорняки полоть...» – «Хозяйство хорошее было – да, а у малых обуви не было и всю зиму на печке сидели... А помнишь, как ты захотела прокатиться босиком по ледяной горке? – Выскочила, а ноги об лёд не едут...» Посмеялись тихо... «Зато теперь всё будет правильно, когда социализм построим, во всём разберутся!» – вскидывалась юная комсомолка. «Врут, врут всё! – усмехалась Галя, – Я видела, как умирали дети, как убивали невинных, а ты маму забыла?.. Но ты правильно, правильно – вступай в партию, начальником, может, станешь». – И младшая сестра холодела от ужаса: меркла радость сопричастности к великой мечте человечества... Тяжёлый туманный морок стоял в голове, когда тайком пробиралась домой...

## 2

Прошли годы, десятилетия, и много событий за это время произошло: война, бегство из Кривого Рога за полчаса до вступления в него немцев. «Летний жаркий день, иду по улице и вдруг вижу – телега с семьёй начальника милиции города: сын его, Тарасик, ходил в мою группу, где я воспитательницей была. «Такой упрямый был, – смеется, вспоминая, – спросишь, Тарасик, ты почему балуешься? – насупится так и молчит».

«Валя, ты куда? – спрашивает начальник милиции. – А ну садись к нам в телегу, в городе скоро немцы будут! А я, как сейчас помню, – в белом платье и босоножках... Растерялась: Ну, я сбегаю хоть что-нибудь возьму! – Некогда, Валя, через полчаса будут!» Думать нечего – села на телегу и началась её одиссея беженства. «Куда ни поедем – там уже немцы: Верхний Токмак, Мелитополь... По дорогам беженцы потоком идут, дым в небо поднимается от горящих подожжённых хлебов – чтоб немцам не достались. Скотину везде в деревнях резали – ею и питались. И солдаты наши бредут серые, усталые, перевязанные окровавленными тряпками, а их ещё ругают: что, мол, отступаете, говорили ведь по радио, что врага будем бить на его территории! А они-то при чём? Идут и молчат...»

По пути сдружилась с двумя украинскими девушками. Звали друг друга Муля, Мэрка и Валя. Мэрка оказалась женой офицера, часть которого накануне войны вошла в Западную Украину. Когда мама поведала им о своём намерении записаться в Красную армию, как только дойдут до ближайшего не занятого немцами города, они принялись отговаривать. «Валь, – говорила Мэрка, жена офицера, – да ты не знаешь, как страшно, когда в нас стреляли!»

«Добрались до Днепра. Вот страх-то был! Ночью переправлялись под бомбёжкой. Немцы осветительные ракеты пускают, самолёты бомбят... Мы на плоту переправились...» Удар осколка – и тело ко дну идёт, и никто уже о тебе на белом свете не спросит, не вспомнит – какая уж тут героическая смерть!..

А немцы наступали, и катился дальше и дальше перед ними вал беженцев.

Наконец достигли Сталинграда. «А сколько людей там было! Целые сутки простояли в здании вокзала один к одному, не двинуться...» Потом девушкам дали в местном военкомате какие-то справки и отправили рыть окопы. Но дело молодое – познакомились с моряками, эшелон которых шёл в Новороссийск. Одного парня мама настолько очаровала, что он давал ей адрес своих родителей ленинградцев: «Езжай к ним, немцы никогда Ленинград не возьмут!» Моряк и представить себе не мог, что предстоит пережить или пересмертвить его городу, и старики родители, скорее всего, обречены...

С эшелоном моряков попали в Новороссийск. «Ты знаешь, мне всегда добрые люди попадались!» – не раз улыбалась, вспоминая прошлое. В Новороссийске добрый пожилой военком посмотрел на девушек и сказал: «У меня дочка такая же, как вы, девчата, отправлю-ка я вас от войны подальше, будете сопровождать раненых до Ташкента!» Но война, будто не желая отпускать, попробовала зацепить железным когтем: когда шла к мосту через поросшее высокой травой поле, спикировал на неё немецкий самолёт. Сейчас кажется неправдоподобным: шёл первый год войны и, казалось бы, не должно ещё было появиться у победоносных немцев такой злобы, чтобы на одного человека, точку с высоты, бросать современную машину, тратить керосин, боеприпасы... Взрыва не услышала. Очнулась, лежа среди травы и услышала тревожные голоса разыскивающих её в поле подруг: «Ва-аля!.. Ва-аля!..» Оказалась цела-невредима – лишь лёгкая контузия! Потом на поезде с ранеными через Кавказ до Махачкалы, ночная погрузка на самоходную баржу, отплытие... Впервые увидела рассвет в открытом море, когда судно двигалось к Красноводску, и зрелище это её впечатлило необыкновенно: чувство красоты и величия природы теснилось в груди, чаяло выхода в стихах или песне, но нужных слов не находилось, кроме: «Красиво-то как!» В Ташкенте устроилась медсестрой эвакогоспиталя, благо была перед войной подготовка в виде ускоренных медицинских курсов. Госпиталь перевели в Коканд. Там впервые увидела горы голубые. Они казались совсем близкими, и раз после дежурства решила до них прогуляться. «Иду и иду, а они не приближаются!» Спросила старика-узбека на ишаке, далеко ли до гор. «К утру дойдёшь!» – усмехнулся узбек. Потом в подмосковный Ногинск, к месту первичной дислокации, куда вернулся госпиталь после того,

как немцев отогнали от Москвы... Целых три месяца поезд шёл, пропуская составы на фронт и с фронта.

Добрались, наконец, до Ногинска... «Начальник госпиталя у нас грузин был – очень хороший человек, честный...» Раненые разные бывали. Однажды немцев привезли. Немцы на ночь брюки складывали под матрац, чтоб к утру выглядели как глаженные утюгом, и когда в палату их офицер заходил, гремело «Ахтунг», и все, кто ходячий, вскакивали и вытягивались по стойке смирно. Даже в плену они сохраняли порядок. Иное дело – люди из дивизии Рокоссовского, собранной по тюрьмам и лагерям – те бузили часто, их боялись. Однажды один из пациентов стал ломиться в кабинет начальника госпиталя с ножом – спирт давай! И тот его в упор застрелил, а сам бежал, спрыгнув со второго этажа. Что тут началось! Бунт по всему госпиталю, погром! Персонал госпиталя бежал, кто куда, а мы, медсёстры, попрятались в подвале, дрожим. Только когда госпиталь военные с автоматами окружили, бузотёров угомонили. Начальника госпиталя назначили нового: «Противный был мужик...»

Характер у мамы был жизнерадостный, и за время работы в госпитале подружилась с медсёстрами, особенно с вологодской красавицей Таней Зимарёвой. Прямая, статная, она сохраняла свою особую красоту почти до 80 лет, когда после ухода мамы приезжала к нам в Подольск. Это не кукольная красота современных див, а нечто совсем иное. Все на них оглядывались, когда шли по Ногинску – зеленоглазая шатенка и светлоглазая блондинка. И запомнилась она улыбочивой, со слегка сощуренными со смешинкой глазами – ни за что не скажешь о тяжелейшей личной судьбе: сразу после войны женилась на советском (с красной книжечкой) поэте, здоровенном мужике, с гладким, как боевая каска, черепом, автором нескольких стихотворений, пытавшим ими всю жизнь знакомых, который оказался запойным пьяницей несусветным. От него родила тихого мальчика Вову, который рано начал увлекаться шахматами, а с десяти лет врачи стали подозревать шизофрению. Поэт доконал себя водкой лет через десять, а сыну ничто не помогало – внешне рос, а всё хуже симптоматика. Перестал ориентироваться в комнате, людей узнавать, пришлось определить в закрытую психлечебницу. Шли годы, и Тётя Таня ежедневно носила сыну свежую домашнюю пищу, но... не помогла: полная анорексия привела Вову к истощению и смерти. Мать пережила сына. Казалось, самое страшное, но, удивительно, Таня не утратила способности радоваться простой жизни: цветам, стихам, голубому небу... И, словно в награду за мученическую долю, годам к 70 познакомилась со сверстником, бывшим фронтовиком, который стал в собственной семье ненужным, помехой. И стали они присматривать друг за другом, стали мужем и женой, даже махнули по ветеранской путёвке в Египет, в Хургаду, правда, очень недовольны остались: старики не знали, что за экскурсии надо платить дополнительно, и неделю пролежали у Красного моря.

«Ох и хохотушки мы были с твоей мамой!» – улыбалась тётя Таня. Одну историю и мама вспоминала не раз. Ближе к концу войны решили сфотографироваться в лейтенантских погонах. Достали погоны, пришили и двинулись в фотоателье. «А все солдаты нам встречные честь отдают, мы не можем от смеха удержаться, а они удивлённо оглядываются!» Но Ногинск городок маленький. «Шагаем так уже гордо по улице, как вдруг навстречу наш политрук идёт! Мамочки мои! Глаза выпучил, как заорёт, на погоны показывает: „А это ещё что такое? Да я вас под трибунал, на гауптвахту, а ну снять сейчас же!“ Кинулись мы к госпиталю, погоны срезали, ревьём вовсю». Но дело замять удалось – ограничилось разносом от политрука и ручьями девичьих слез.

Но вот наступил день конца великой бойни, война закончилась! Казалось, радость такая ни одного человека не могла обойти. «Я молодым членом партии уже была и речугу толкала, –

вспоминала мама с улыбкой, – а в это время у меня платье украли!» А что такое в то время для девушки единственное платье было – судьба от него зависела, личная жизнь!..

А после войны командировка в Китай «на чуму», где два года провела вместо обещанного полугодия – Харбин, Пекин... Потом полгода в Северной Корее, поразившей её красотой природы... Снова Москва. Встреча с прошедшим от Ленинграда до Берлина отцом, хирургом-«светилой», как его звали окружающие, брюнетом-красавцем, армянином и отъезд в Таллинн, где его назначили главным хирургом республиканской больницы, где родился я. Те десять лет в Таллинне она не раз вспоминала как лучшие в своей жизни. Но это особая история...

По натуре она была оптимисткой, несмотря ни на что, и люди ей нравились смелые, решительные, только дураков терпеть не могла, усмехалась над ними или, махнув рукой, только вздохнёт.

«Жизнь есть жизнь», – не раз повторяла, и в этих простых, твёрдых словах, говорившихся с разным оттенком, скрывалось многое: то, что несмотря ни на какие беды, жизнь будет продолжаться по своим глубинным законам, что молодежь ругают зря – надо понять её, сами были такими и так же старики нас ругали, что история движется от худшего к лучшему... Не помню её плачущей. Умела, тряхнув кудрями улыбнуться, распрямиться, оставляя неприятности втуне.

А о прошлом своём не рассказывала. Лишь иногда лицо её непривычно суровело, и она произносила в сторону: «Меня мама несла по степи на руках сто километров!» А однажды добавила задумчиво: «И что интересно, в какую бы мы хату ни постучались переночевать, везде пускали к себе, не спрашивая ни документов никаких и никакой оплаты не требуя...»

### 3

Году в 59-ом нашу семью понесло в Казахстан на заработки. Там отец стал доцентом мединститута и главным хирургом области величиной с Чехию. Там я пошёл в первый класс.

Каждый раз, когда я входил в школу, я видел над собой в холле красное полотнище с белыми буквами: «Учиться! Учиться! И еще раз учиться! – В. И. Ленин». Конечно, Ленин был самым умным из всех когда-либо живших на свете людей, но было непонятно, зачем же повторять три раза одно и то же?.. Лишь гораздо позже я понял стиль «вождя пролетариата»: убеждать не рассудком, а вдалбливать то или иное положение.

Ленин был не только самым умным, но и самым добрым, самым скромным, самым честным и вообще самым-самым, образом, воплощающим все положительные черты, какие только могут быть у человека. Нет, не Бог, – ведь мудрые взрослые нас учили, что Бога нет! Но такой совершенный человек, равного которому никогда до него не было и никогда не будет.

И, как в любой школе, здесь тоже висел стенд, посвящённый семье Ульяновых, с теми же каноническими фотографиями: херувимоподобный мальчик, похожий на девочку из-за длинных волос, – Ленин в детстве; Ленин в юности – уже с жиденькими усиками и бородкой; преждевременно начавший лысеть молодой человек; и, наконец, вполне оформившаяся плешь – кладёзь всего такого замечательного, к чему только предстояло прикоснуться.

Произошло огромное событие – мы стали октябрятами! И я с гордостью носил на школьной гимнастерке красную звездочку с рубиновыми лучами и золотым херувимоподобным дитя-

тей посреди. Но с какой же завистью я смотрел на тех, кто постарше, на пионеров, на их алые атласные галстуки. А как разглаживала свой утюгом на кухне соседская девочка Людка и как красиво повязывала на шею, какой у нее получался замечательный, гладкий узел! Я жил в довольно уютной сказке, давшей первую трещину лишь в третьем или четвертом классе при вступлении в пионеры.

Каким должен быть пионер, можно было прочитать на задней стороне обложек учебных тетрадей под таблицей умножения: всему пример – отлично учиться, любить социалистическую Родину, быть верным делу Ленина и коммунистической партии...

И я аккуратно старался во всем следовать этому катехизису.

Ленин был вездесущ: памятники ему населяли улицы, площади, парки и скверы, его бюсты, портреты, плакаты с его изображением присутствовали соглядатаями во всех учреждениях, в больницах, парикмахерских и даже столовых общепита, он проникал в любое жилье на страницах газет, журналов, учебников и детских книжек – если не Ленин, то Маркс или ныне здравствующий генсек... Его имя постоянно звучало по радио, учителя рассказывали, какой он был необыкновенный, замечательный, честный: разбил чашку и через месяц признался!.. О том, что его надо любить сильнее родителей, как Павлик Морозов, выдавший своего нехорошего отца-кулака!

Заставить себя любить этот образ почему-то было сложно, было нелегко, но я смотрел на эту плешь, на эти хитро сощуренные глазки и бородку, усиленно убеждая, что люблю, люблю, вот уже совсем люблю... но сердце моё оставалось холодным, и мне было от этого стыдно, я чувствовал вину предательства, которую необходимо как-то искупить...

Однажды, вернувшись домой после очередного урока, на котором нам снова что-то рассказывали о Ленине, я с жаром и восторгом стал вещать маме о том, какой замечательный был Ленин, а особенно добрый, непростительно и беспредельно добрый: Каплан в него стреляла, а он её, злодейку, помиловал – так учительница сказала!..

Реакция, однако, была самая неожиданная. Пока я вещал эту ахирию, искусственно всё более и более себя взвинчивая, мама пристально смотрела на меня тем взглядом, какого я у неё ещё никогда не замечал, и вдруг сказала необыкновенно жестко и категорично: «Твой Ленин – негодяй, у него руки по локоть в крови!»

То, что я испытал, трудно выразить – всё будто перевернулось – небо обрушилось, землетрясение, катастрофа... В растерянности я ещё открывал рот, как выброшенная на берег рыба. Как мог произнести такое кощунство самый любимый и близкий человек! Самый близкий человек и... враг?! Это было невозможно, и тем не менее это произошло!.. Потом расхохотался: настолько потрясающей и нелепой показалась несведущность самого любимого человека. Я принялся доказывать, что это не так, и основным доказательством служило «в газетах же пишут!»

Для детского сознания, ещё не вылупившегося из добрых сказок, масштаб лжи взрослых серьёзных и умных тётей и дядей казался невероятным... А печатное слово обладало некими непостижимыми сакральными свойствами, его массовость, ежедневное присутствие в нашей жизни сами по себе являлись гарантией его правдивости! Однако мама была непреклонна – «врут!»... И единственное, что я мог на это возразить:

– Да как же это можно?!

Конечно, полагалось поступать, как Павлик Морозов, пойти к учительнице и честно рассказать всё про маму, но при мысли об этом кровь прилиwała к голове, захлёстывал какой-то пещерный ужас. Я чувствовал, что если так поступлю, произойдет что-то ужасное и непоправимое – разрушение всего и вся, похлеще, чем на картине Карла Брюллова «Последний день Помпеи», репродукцию которой видел в книжном магазине. Я будто приблизился к гибельному краю пропасти, из которой веяло холодом и туманом, НИЧЕМ! Я долго не мог заснуть, решая извечный русский вопрос «Что делать?». Всё думал и думал и, наконец, гениально придумал: нет, я никому не скажу о маминых словах, я её перевоспитаю! И, почувствовав себя счастливым, я крепко заснул. Я больше не был предателем! И я мог любить маму!

## Коктебель

Первый мой опыт переноса жизненных событий на бумагу случился, когда мне исполнилось одиннадцать лет. Мы с мамой летом уехали в мои летние каникулы на юг и оказались в чудесном, поразившем нас своей живописностью уголке Крыма, в Коктебеле, который в то советское время чаще назывался Планерское. Мама с боем пробила место в пансионате, где нам выделили номер. Здесь я вновь увидел море, по которому скучал все четыре года, прошедшие после нашего отбытия из Таллина. Семипалатинск, Луганск и подмосковный Подольск, где мы осели, не производили на меня большого впечатления, много проигрывая при сравнении с Таллином, который отпечатался в сознании, как чудесный сон.

По сравнению с хмурым индустриальным Подольском, контраст был колоссальный. Планерское казалось другим миром, уже несколько пересекающимся с миром приключенческих книг, которые я в то время начал глотать. Живописные три горы справа посёлка – начало крымской Яйлы, причудливая форма вторгающегося в море Кара-Дага, за ним круглая, покрытая курчавым зелёным лесом гора с большой квадратной скалистой проплешиной, и далее от моря изящный скалистый пик Сюрю Кая. К северу от посёлка – степь, слева – горы-холмы с вторгающейся длинной плоской горой в море, которая получила своё название «Планерная» из-за проводящихся на ней соревнований планеристов (говорили, что там особые ветровые потоки).

На территории пансионата был субтропический парк с зонтичными пальмами, где свободно разгуливали удивительные птицы – павлины с хвостами, длинные перья которых, отторченные зелёной бахромой, заканчивались синим глазом в золотой кайме. Уголок Пушкина, где на берегу пруда красовались герои его сказок из гипса: Голова, витязи, царевна лебедь и т. д. Был там так называемый уголок Дурова – клетки с забавными хомячками, морскими свинками и смешной обезьянкой по прозвищу Яшка. Но главное, конечно, море – синее, яркое, праздничное, непохожее на прохладную Балтику с приглушенно нежными красками, особой суровой, северной поэзией. И в этом море можно было много купаться, не замерзая! Мы с мамой восторгались здешней природой, и она сказала: «А ты заведи дневник и записывай всё, что видел!» Знала бы она, во что выльется такое начало, возможно, и воздержалась бы от такого совета! Писательство всегда казалось ей делом опасным и не стоящим. Тем не менее, появились толстая общая тетрадь в сиреновом кожаном переплёте и чистыми сероватыми страницами в клетку, при взгляде на которые меня сразу посетило графоманское чувство, сгубившее не одну судьбу – желание их заполнить!

Эта тетрадь хранилась долго, пережила переезды с квартиры на квартиру и попала мне вдруг в руки через полвека после написания: чернила из синих стали фиолетовыми, почерк старательный – след движения раздваивающегося при нажатии железного пера (в этом случае линия становилась толще, как полагалось при написании вертикальных линий букв (так нас учили на уроках чистописания), вспомнилась и чернильница непроливайка, в которую надо было то и дело макать перо, и густой перестук перьев о её доньшко в классе во время контрольных работ – другая эпоха! Сколько после неё произошло изменений – появились авторучки, в которых чернила заправлялись и отпала нужда в чернильницах и постоянном макании пера, хотя оно сохраняло раздвоенность своего жала. Различные модели этих авторучек: были с поршнями для засасывания чернил и с резиновыми пипочками, служившими той же цели. Перья закрывались колпачками и благодаря металлической булавке на колпачке ручку можно было носить в нагрудном кармане пиджака- существовали такие ручки с различным дизайном, с золотым пером и т. д. Блестящая булавка на кармане свидетельствовала о том, что профессия у владельца не связана с физическим трудом – он или служащий, или начальник, или школьник, или студент. Кажется, в классе шестом или седьмом стали появляться шариковые авторучки. и первым её в класс принёс наш отличник Виталий Вайсберг, чем был чрез-

вычайно горд – впрочем, и авторучку в класс он также в своё время принёс первым. Читая строки дневника через полвека, я был несколько удивлён: написано с литературной точки зрения довольно грамотно, без повторов и стилистических нелепостей, не говоря уже об орфографии и синтаксисе. Конечно, было очевидно, что писал ребёнок – сквозь текст просвечивал чистый детский восторг увиденным.

А восторгаться было чему. На протяжении 14-ти дней каждый день приносил новые впечатления, которые я аккуратно записывал.

Самое большое впечатление на меня произвела морская прогулка вокруг Кара-Дага. Я вступал на борт белого экскурсионного теплоходика с восторженным замиранием. Шутка ли – впервые в жизни я буду плыть по морю на настоящем, пусть и маленьком, судне!

– Вот хочет стать моряком, – сказала мама принимающему сходящих с трапа на борт смуглолицему матросу, в котором ничего не выдавало моряка – светлая рубашка, брюки, штиблеты, непокрытая курчавая голова...

– Э-э, – сказал матрос, лучше твёрдой суши ничего нет!

Яркий, солнечный день с робким свежим ветерком. Вода у берега цвета зелёного стекла при нашем выдвигении в море изменила цвет. Море представляло собой фиолетовую гладь, до горизонта покрытую мелкой рябью, по которой катились длинные, пологие волны – будто дыхание спящего могучего великана. Мы шли вдоль Кара-Дага и ожил репродуктор, гид комментировал открывающиеся виды. Кара-Даг и в самом деле гора исключительная, не похожая ни на какие другие, даже стоящие рядом. Это застывший древний вулкан, и, казалось, природа изощрялась здесь в создании разнообразных каменных форм, которым человеческое воображение нашло свои метафоры. Вот скала Чёртов палец, напоминающая торчащее к небу раздвоенное копыто, вот скала Шайтан – обрывистая, острая... Всех наименований я уже не помню, но была даже скульптурная группа – Король и его свита! Теплоходик обогнул Кара-Даг, и нам открылись стоящие посреди моря скала в виде ворот – Золотые ворота! Кара-Даг скрывал бухточки – Лягушачья, Сердоликовая, в которой до сих пор находили полудрагоценный сердолик, Разбойничья, где в старые времена укрывались морские разбойники... До некоторых невозможно было добраться по берегу...

На обратном пути нас ожидал сюрприз: неожиданно справа по борту в нескольких ста метрах из сиреневой глади возникло блестящее чёрное тело и прокатилось колесом, мелькнув острым крючковатым плавником.

Восторженно кричали дети и взрослые, и взгляды напряжённо шарили по морскому простору, надеясь на повторное явление. И не напрасно – дельфинья спина с плавником появилась ещё раз, теперь уж позади теплохода...

Конечно, нельзя не упомянуть отдельно чудесную коктебельскую гальку. Никогда и нигде на морях и других пляжах не встречал я ничего подобного! Загорая на пляже, можно было часто видеть бредущих вдоль берега в набегающих по щиколотку волнах купальщиков и купальщиц, внимательно вглядывающихся себе под ноги в поисках интересных камешков и сердолика. Галька была разноцветная – зелёная, жёлтая, оранжевая, голубая, красная, светлая; блестя от воды, она казалась драгоценной россыпью, зачаровывала. Среди этих камешков встречались прозрачные, с жёлтыми или белыми включениями по краям, приятно гладкие на ощупь кусочки кварца, обработанные неутомимым прибором. Считалось большой удачей найти серый плоский камешек с просверленной (?) или проточенной водой (?) дырочкой. В эту дырочку продевалась нить, и камешек можно было носить, как талисман, в особенности если по форме он напоминал сердечко. Один раз я видел такого счастливицу, молодого парня.

Я и сам не раз занимался подобными поисками и составил целую коллекцию из разноцветных камешков – длинную коробку набрал, среди которых был удивительный камень – снаружи серый, кем-то или чем-то разломанный, необыкновенно твёрдый, на изломе, полупрозрачный, с блеском, будто хранящий сгусток тумана – это явно был какой-то полу-

драгоценный камень, но как он назывался, я так и не смог узнать. А однажды я увидел прекрасный прозрачный зелёный камешек. Конечно, изумруда здесь быть не могло, но, возможно, это какой-то кристалл... или всё-таки бутылочное стёклышко? Но уж очень природно-гладкой была находка, и я её долго хранил в коллекции, не подвергая испытанию, теша себя иллюзией. Но стремление к правде оказалось сильнее, и в один из дней я, собравшись с духом, положил «изумруд» на каменную основу и легонько стукнул по нему гранитным камнем. «Изумруд» сразу же раскололся на две половинки, он оказался хорошо обточенным морем и галькой кусочком бутылочного стекла!

В те годы туристы только начинали посещать Коктебель, быстро ставший их настоящей Меккой. Лет через двадцать я вновь посетил это место, но той волшебной гальки уже не нашёл: то ли её выбрали люди, то ли засыпали песком с грубой галькой из других мест в стремлении улучшить пляж.

В Коктебеле случилось величайшее по тому времени для меня событие – я самостоятельно научился плавать! Сколько себя помню мальчишкой и отроком, страстно мечтал стать моряком, тем сильнее, чем дальше от моря наше семейство оказывалось волею судьбы – Семипалатинск, Луганск, подмосковный Подольск... А какой из тебя моряк, если ты не умеешь плавать? Первые два дня я бултыхался, надев резиновый круг, но быстро понял, что удерживая на воде, плавать красиво и быстро он не даёт. Ещё в поезде по дороге в Крым я изучал книжку – руководство по обучению плаванию, стили плавания – кролем, брассом, кролем на спине... Отбросив позорный резиновый круг, я начал тренироваться на мелководье, наблюдая, как мужчины входят в воду и плавают – как держат голову, проворачивается их корпус, работают руками и ногами, вдыхают и выдыхают... Я пытался подражать, уперев руки о дно работал ногами, делал пару гребков саженками и снова становился на дно, осмысляя свои ошибки... И вот на третий или четвёртый день моих экспериментов я неожиданно для себя проплыл саженками метра три! Инстинкт страха воды, свойственный не умеющим плавать, был преодолен! Каждый день я проплывал всё больше и больше и уже не боялся очутиться на глубине. В дальнейшем плавание в море стало одним из самых больших моих удовольствий в жизни. Я освоил все стили и чувствовал себя в воде совершенно свободно, мог плыть до сорока минут и более, сменяя стили и не утомляясь – брассом, на левом боку, на правом, на спине, периодически отдыхая, стоять... Единственное, что ограничивало моё пребывание в воде, охлаждение тела (я был худышкой). В общем, в этом событии мне мнился важный шаг к осуществлению моей мечты стать моряком. Мама моей мечты вовсе не разделяла, хотя и явно не выступала против, не без оснований считая её чем-то вроде преходящей детской болезни. Но она была тоже мечтательницей, только мечта у неё была иная. В пять лет она отдала меня в таллинскую консерваторию в класс скрипки. Ей мнились концертные залы Европы и России, свет люстр, золото лоджий и восторженные аплодисменты публики. В подобную мою судьбу она особенно уверовала после встречи с известным на всю страну оперным певцом Георгом Отсом. Случайно в соседнем классе, где проходил мой длинный и скучный скрипичный урок, репетировал Георг Отс, и наши занятия закончились одновременно. Случайно я очутился рядом с ним в коридоре. Великий Отс положил мне руку на голову и изрёк: «Эт-тот ма-альчик станет великим музыка-антом!» С тех пор скрипка на долгие годы стала проклятием моего детства, и до сих пор её тонкие звуки вызывают во мне дискомфорт, что-то вроде зубной боли.

И, конечно, не забыть тот волшебный вечер, когда мы с мамой, выйдя за пределы посёлка, шли по безлюдному песчаному пляжу в сторону Планерной горы. Солнце едва зашло за Кара-Даг, и море, тихо шумящее усталыми волнами, превратилось в мистирию нежных красок: сиреневая полоса сменялась золотисто-жёлтой, затем серебряной... Небо белело и слабо розовело, каждая клеточка организма была наполнена покоем и счастьем. Вдобавок мы дошли до невы-

сокого травянистого холма, в котором я нашёл маленькую пещерку, куда входила рука. Пальцы нащупали какие-то плоские грани и острые края: камнем я выдолбил находку, и у меня в руке оказались несколько кристаллов горного хрусталя!

Дневник я аккуратно вёл четырнадцать дней: в дальнейшем впечатления стали повторяться. Мы наслаждались морем, солнцем, завтракали, купались, кушали украинский суп с галушками в кафешке на набережной, после обеда отдыхали в номере, читали, снова шли на пляж, вечером посещали летний кинотеатр, и именно тогда я посмотрел только что вышедший на экраны фильм «Деловые люди» с неподражаемыми Пляттом, Никулиным, Вицыным... Кто не помнит из моего поколения замечательной киноновеллы «Вождь краснокожих»?

В райской картине нашего отдыха в Коктебели всё же было маленькое тёмное пятнышко. И связано оно с «уголком Дурова». Как обычно, напротив клетки с Яшкой толпилась смеющаяся детвора, которую забавляла эта живая карикатура на человека, и только и слышалось: «Яшка! Яшка!» Смешной и добрый Яшка! Клетка была отгорожена от зрителей изгородью, за которую никто не заходил. А мне захотелось быть поближе к Яшке, я зашёл и на миг обернулся, торжествуя. И вдруг с изумлением почувствовал, как кто-то больно ухватил меня за кожу спины и стал тянуть, будто пытаюсь вырвать клочок. Это была маленькая цепкая ручка Яшки! В пещерках его глаз светились огоньки лютой ненависти. Я чуть не позвал на помощь и еле освободился, унося с собой чувство изумления и некоторой обиды, ведь я никому не сделал зла, а значит, казался себе вполне достойным любви всех людей и всех животных!

Павлины же с каждым днём всё более и более теряли своё шикарное оперение, у иных вместо царственного хвоста оставалось всего несколько сиротливых длинных перьев и открывалась жалкая гузка, а на аллеях парка то и дело встречались мужики, довольно помахивающие выданным длинным пером с золотым глазом – они их дарили своим дамам! Непроглядной южной ночью павлины из персидского далёка, будто жалуясь, громко кричали – «Мяу! Мяу!». Но это в дневник не вошло.

Десятки лет хранилась эта кожаная тетрадь и потерялась при переезде на другую квартиру, как обычно и теряются самые дорогие вещи и люди.

## «Жди меня и я...»

Когда наша семья окончательно осела в подмосковном дымном заводском Подольске, где я проучился в школе с 3-го по до последнего 10-го класса, на летние каникулы мама старалась меня вывозить на юг, к морю, укрепить моё здоровье: Коктебель, Феодосия, Анапа, Сочи... Отец оставался дома, и мы путешествовали с мамой вдвоём.

Поезд обычно отбывал из Москвы утром и около полудня проходил Курск. Лицо мамы серьёзно – в первую нашу поездку на юг она сказала, что здесь были страшные бои, в которых погиб её довоенный жених – сгорел в танке. Мы молча смотрели через окно на проносящиеся мимо живописные луга и дубравы, мелькающие полустанки, но ничего уже не напоминало о самой страшной в истории человечества танковой битве.

Лишь после окончания института через близкое тогда мне третье лицо я вдруг случайно узнал, что танкист не погиб. Меня это тогда не заинтересовало – столько лет прошло и столько своих дел и мечтаний было!.. И то, что пару раз мама обмолвилась, как, приехав после войны в Кривой Рог, где жила до войны, увиделась со своим женихом, тоже не вызвало вопроса. Не смущала неувязка – или жених погиб на Курской Дуге, или вернулся после войны в Кривой Рог, откуда мама бежала за полчаса до захвата города немцами? Я просто об этом не задумывался: в моём настоящем это не имело значения...

А она рассказала, что ей страшно не понравилось его развязное поведение: «Ну, теперь мужиков мало, а женщин много – возьму, какую захочу!..» – вальяжно сказал он. Маму это оскорбило, и на следующий день, с утра, никому не говоря ни слова, она покинула Кривой Рог теперь уж навсегда, сев в поезд, идущий обратно в Москву навстречу неизвестному будущему.

Далеко не для всех послевоенные встречи оборачивались счастьем – встречались слишком изменённые за четыре года войны люди. Думаю, так случилось и здесь. Вместо скромного курсанта-танкиста, с которым она познакомилась на танцплощадке, она увидела обожженного и циничного человека... Он прошёл пол разрушенной, изнасилованной в отместку Европы, и его душа находилась в скалярном состоянии, для которой покой и невесомая пустота были благом. Мамина же душа была векторная, стремящаяся к наполнению. Мама объехала в составе эвакуогоспиталя половину востока страны, и люди, жизнь только разжигали в ней интерес и желание расти.

Да, бывает так, что люди любили друг друга, четыре года войны писали письма со словами любви и поддержки, которые были необходимы... Но прямая, как выстрел, военная эпистола – одно, а жизнь – другое, в её мантры не укладывающееся. Четыре года! За это время жизненные траектории разошлись слишком далеко, и приходилось рвать вопреки сердцу. И она решительно порвала... Но шрам остался. А мне, чтобы не было вопросов, сказала: сгорел... Да так она и себя уже почти убедила: тот скромный мальчик, который провожал её с танцев, сгорел в огне войны, породив совершенно иную личность – грубую, обожжённую, солдатски несложную.

О шраме я упомянул не зря. Через три года после войны, выйдя замуж за моего отца, они поехали в свадебное путешествие в Анапу. Анапа в то время поразила её живописным безлюдьем, чистыми золотыми песками, нежным морем... Но в первый же день, пробыв от радости на солнце гораздо больше положенного, она сильно обгорела, вечером впала в жар и бред, и всю ночь звала одно и то же мужское имя – не отцово... На следующий день она пришла в себя, не помня, что с ней происходило.

– Кто он? – спрашивал разъярённый ревнивый отец армянин, называя имя, которым она бредила. Но женщина ничего не скажет, если не захочет, хоть пытай: «Я не знаю, не знаю, клянусь. И откуда он взялся?» – смеялась, только делая удивлённые глаза, и отцу осталось лишь поверить. А я думаю, это и было имя того танкиста, который «сгорел».

Мы смотрели в окно вагона под Курском молча Двадцать лет прошло после войны, столько событий произошло: страна отстроилась, выросли рощи, люди в космос полетели, я родился...

Неужели то неизвестное имя так и осталось лежать в её сердце?

## Я умер в Нахичевани

1

Всё произошло неожиданно: грохот копыт, крики и облако пыли до неба, в котором мелькали лошадиные морды, папахи всадников, чужие друг другу ноги, руки, лица, тени, то знакомые, то незнакомые лица с наполненными бессмысленным ужасом глазами... И никого из своих...

Десятилетний Левон стоял один на сельской улочке. А ведь всего минуту назад они сидели дома на приготовленных для бегства мешках, уже готовые покинуть дом... И пожилой, покорно опустивший плечи отец, и крестящаяся мать с гордым профилем, и два брата, и сестра... И не было только Луйса, жеребца, которого ему подарил отец полгода назад и на котором он проскакал едва ли не все окрестности, забыв о церковно-приходской школе и карающих розгах Тер-Татевоса: то будет в туманном, как сон, потом, а сейчас вот это журчанье ручья, тихий хруп пасущегося Луйса, белесое небо с орлом, нарезающим круги над невидимой жертвой...

Обнять бы в последний раз надёжную, тёплую шею... Левон тихо сполз с мешка, проскользнул в полуоткрытую дверь, шмыгнул через двор и оказался в сарае, где в прохладе жевал свой корм Луйс и возбуждающе пахло лошадиным потом. Надо торопиться: он обнял жеребца за шею, почувствовав, как глаза стали влажными: «Прощай, друг, прощай, ахпер!» Жеребец к слегка повернул к мальчику голову с нежным карим глазом, обрамлённым белесыми ресницами, и тихо заржал. Мальчик поцеловал его в теплую ноздрю и, разжав руки, бросился вон.

Какого же было его изумление, когда в доме он не обнаружил ни одной души! – ни отца, ни братьев, ни матери, ни сестры —будто ветром сдуло: даже мешки, аккуратно прошитые материнской рукой, оставались нетронутыми... Никого! Тогда он бросился на улицу и увидел огромное облако пыли: бегство было стремительным и хаотичным.

Уже не раз после ухода русских войск Левон слышал из разговоров взрослых о неизбежном вторжении в Нахичеваньский уезд регулярных турецких войск, которым были готовы «помогать» в резне окружавшие армянский анклав из 14 деревень соседние азербайджанские сёла. Но несмотря на то, что урожай скорее всего достанется врагу, обычные крестьянские полевые работы не прекращались. Может, потому, что работа сама по себе хоть как-то отвлекала людей от мрачных мыслей.

Взрослое население вечерами под чинарой, росшей перед тысячелетней церковкой, озабоченно, но бесплодно обсуждало сложившееся тяжёлое положение. Все ложились спать и вставали с сознанием неизбежности нападения и поголовной резни. И то и дело приходилось слышать: «Эх, если бы Андраник!.. Генерал кач Андраник!..»

С самой колыбели Левон слышал это почти сказочное имя героя в неравной борьбе с турками, в которой генерал не потерпел ни одного поражения. Но легендарный Андраник со своей добровольческой конницей находился довольно далеко, в Каракилисе, и едва ли сумеет и успеет пробиться на помощь, и местному населению приходилось возлагать надежды лишь на свои собственные весьма слабые, неорганизованные силы. Все ждали сообщений, когда и в каком направлении идти, но пребывали в неведении.

Но неожиданно утром, едва забрезжил рассвет и появились солнечные лучи, стало известно, что Андраник со своими войсками преодолел все преграды, с тяжёлыми боями пробился в Нахичеваньский уезд и прорвал вражеское кольцо для спасения армян...

2

Пыль на дороге от пройденной конницы и ног бегущих оседала, и Левон обнаружил, что на другой стороне улицы стоит старый учитель Симон в старой городской шляпе и сморит

на него светлыми прозрачными глазами. Симон был худ, сутул, в городском потёртом костюме, седые, слегка курчавые волосы достигали плеч.

– Бежать тебе надо, Левон! – сказал Симон и не двинулся с места.

– А вы?.. – размазал слёзы по щекам мальчик.

– Мне нельзя, – ответил учитель, у меня здесь есть ещё дела...

Он вообще слыл в деревне странным после приезда из Нахичевани, где закончил русское реальное училище. Собравшись у Симона во дворе в полнолуние, мальчишки нередко и рассматривали ночное светило. Желтоватая пятнистая Луна казалась совсем близко, над самой крышей, стоит руку протянуть.

– Варпет, она на лаваш похожа!

– Варпет, а что там за самое большое пятно?

– Это, дети, армянское море, – усмехался Симон, закуривая трубку.

– Больше Севана?

– Да.

– И больше Вана?!

– А вода в нём пресная?

– Нет, дети, солёная – от всех армянских слёз... А посреди остров храмом, где хранит святой Маштоц буквы нашего алфавита... А охраняют остров наши великие полководцы — Вардан Мамиконян, Ашот Железный, Тигран Великий и богатырь Гайк...

Мальчишки не раз слышал эту историю от Симона, но она им не надоедала.

– А турки там есть?

– Нет, дети, это счастливые места, где всегда мир и покой, где селяне трудятся, не боясь за свой урожай, поэты сочиняют стихи, художники рисуют море и горы, а музыканты извлекают из дудука новые звуки. И стоят по берегам этого моря двенадцать армянских столиц, как новенькие. А ну посчитаем? – и он начинал загибать пальцы. – Эребуни-Эривань, Тигранокерта...

– Двин, Арташат!! — нетерпеливо подсказывали мальчишки.

– Армавир, Ани... – загибал пальцы Симон, и соревнование продолжалось...

– Багаран!

– Ервандашат!

– Ширакаван!

– Карс!

– Вагаршапат!

– Ван, Ани!!

– Уже говорили, говорили!..

Симон стоял на улице и не двигался.

Внезапно послышался топот копыт и показался всадник на гнедом жеребце.

– Спасайтесь, – крикнул он, – турки в деревню входят... – Малый, хватай лошадь за хвост!

Левон вцепился, что было сил, за хвост жеребца и началась бешеная скачка...

3

А Симон повернулся и пошёл между домов к деревенскому кладбищу.

Уже пылали первые дома в деревне, когда он присел у двух хачкаров – отец и мать здесь покоились.

Вспомнилась поговорка вдруг: работать в Баку, жить в Тифлисе, умирать в Армении... и усмехнулся: так и его жизненный цикл прошёл. После Нахичевани устроился бухгалтером на фирму Нобеля в Баку, чтобы денег скопить. Баку город восточный, грязный, многонациональный. Нефтяные вышки, потные тела, запах керосина... Суровый город, выбрасывающий слабых... Когда четыре года прошло и денег показалось достаточно, поехал в Тифлис жениться.

Песни, цветы, рестораны! Всё здесь радовалось жизни и умело радоваться! И он влюбился в этот город, в природу, влюбился в Карину и был близок к счастью, когда молодой грузинский князь увёз её на фэртоне в неизвестном направлении, и по всему видно, не без её согласия и не без родительского – по спокойной их реакции, явно предпочёввших богатого князя полунцищему бухгалтеру.

Так Симон вернулся в родную Нахичевань на радость присмотревшим для него невесту родителям. Устроиться на работу с его знанием русского языка в Нахичевани не представляло труда. Кроме того, он давал желающим уроки русского языка в церковно-приходской школе и материально не нуждался. Хуже обстояло с женитьбой: было немало приличных невест, но от всех он отказывался, скорее всего, был однолюб. А может быть, из-за какого-то внутреннего упрямства перед судьбой, подсовывающей ему слишком банальные варианты. Так или иначе, отстаивая свою человеческую самость, проводил он в мир иной сначала отца, потом мать, сестра и брат обзавелись своими семьями и отдалились.

Да, Баку хорош, чтобы работать... А две другие, такие близкие и такие разные станы... Грузия, цветущая едва ли не всеми дарами земными, с её радостными песнями, открытостью характеров – будто для радости жизни создана. И Армения с её каменистой, суровой землей, требующая от крестьянина напряжения всех сил, пустыня, замкнутость армянского характера и даже некая тяжеловесность? И почему всё же умирать лучше в Армении? Только ли потому, что в Армении лучше умеют хоронить покойников, как с усмешкой однажды сказал отец? Нет, в Армении нет ни одного одинакового хачкара и нет нигде такой обнажённой молитвы, как у Нарекаци, и печального звука дудука... Армения создала культуру, приближенную не к земным прелестям, как в Грузии, а к самой грани человеческого существования... Симон ещё и ещё проводил рукой по каменным цветам, ветвям и птицам на хачкарах родителей.

Ничто не повторяется...

Он слышал конский топот за спиной, кто-то его грубо спрашивал, угрожал, но он не встал и не оглянулся, да и зачем?

«Да, мы ближе к Богу!» – подумал он, и свистнула сталь...

4

Прошло несколько десятков лет. Левон чудом спасся один из всей семьи, изгнанной из родных мест с запретом новой властью всем армянам возвращения и погибшей от голода и тифа. Он даже плохо понимал, как это произошло: десятки раз оказывался на краю гибели. Он хотел реже вспоминать годы нищенства, сиротства и бегства на крыше вагона в Россию. Здесь у него появилась откуда-то неуёмная жажда учиться.

А теперь он известный на весь город хирург, прошедший войну до Берлина, у него была двухкомнатная квартира в пятиэтажке, русская жена и десятилетний сын, отличник и пионер. О своём детстве он ничего никому не рассказывал; да и к чему было сыну знать о тех ужасах, которые больше не повторятся? Да и к чему было рассказывать о прошлом, ворошить межнациональную распрю, что грозило обвинением в национализме, едва ли не намного мягким, чем самое страшное «измена родине», в то время, когда великая партия, с трудом перемешивая страну, формировала новую нацию советских людей, которым прошлое лишь мешало, и было объявлено, что подлинная история начиналась с исторического нуля — семнадцатого года!

Да и сын никогда не спрашивал отца о прошлом: его поглощали приключенческие книги, учёба, уроки музыки на недавно купленном пианино «Беларусь», предстоящее вступление в комсомол... Лишь иногда ночами раздавался страшный, утробный вой и стоны. Отца будили...

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.